

К читателю

Дневниковые записи, записи на полях, проза как вечный черновик, где смешается прошлое, настоящее и будущее, и, конечно, стихи...

Такой видела вторую, ненаписанную часть своей главной книги «Дневные звезды» Ольга Берггольц. И добавляла: «Начать на разбеге...»

Только так, безоглядно, на разбеге, можно рассказать историю любви: *«Дорогой мой, ты не узнаешь этого. Это было уже после тебя... О, ничего, ничего, пусть они все это слышат, мне не стыдно, мне надо, чтобы они знали, слышали о тебе, о моей, нашей любви...»*

Только так, безоглядно, на разбеге, преодолевая «глухонемое время», можно рассказать о крестном пути поколения, *«прошедшего зоною пустыни»*: *«...Но если я не расскажу о жизни и переживаниях моего поколения в 37–38 гг. — значит, я не расскажу главного... (...) Великая, печальная, молчаливая вторая жизнь народа! ...Эта вторая жизнь. Если б мне только написать о ней...»*

Только так, безоглядно, на разбеге, можно обратиться к Родине, «жестокой матери своей, на бесполезное страдание пославшей лучших сыновей», и просить ее, без надежды быть услышанной: *«Не искушай доверья моего. / Я сквозь темницу пронесла его... / Ни помыслom, ни делом не солгу. / Не искушай — я больше не могу».*

Только так, безоглядно, на разбеге, не позабыв годы «гонения и зла», можно воскликнуть в первый день войны: «...*Вот жизнь моя, дыханье. / Родина! Возьми их у меня!*» — преподав урок непостижимого в наши дни патриотизма.

Только так, безоглядно, на разбеге, можно обращаться к потомству — к нам: «...*Черт тебя знает, потомство, какое ты будешь... И не для тебя, не для тебя я напрягаю душу... а для себя, для нас, сегодняшних, изолгавшихся и безмерно честных, жаждущих жизни, обожаящих ее, служивших ей — и все еще надеющихся на то, что ее можно будет благоустроить...*»

Вот так, на разбеге — «от сердца — к сердцу» — мы и делали эту книгу. Такой путь «прям и страшен», но именно его выбрала для себя Ольга Берггольц. Читатель, вы, несомненно, сумеете оценить щедрость и величие этого человеческого и поэтического жеста.

*

«...*Прекрасно, что ранняя жалость / не трогала наших сердец*», — сказала Берггольц в сороковом году о начале тридцатых, чтобы спустя годы и годы эхом, как через бездну, самой себе отозваться: «*Так мало в мире нас, людей, осталось, / что можно шепотом произнести / забытое людское слово: жалость...*»

Между этими стихами лежит время, которое Берггольц назвала своим «*жестоким расцветом*», подразумевая необыкновенный взлет творчества. Это время началось в 1937–1939 годах, когда Берггольц сначала проходила свидетелем по очередному сфабрикованному процессу и после допроса попала в больницу с преждевременными родами, а спустя полтора года была арестована уже как «активная участница контрреволюционной террористической организации» и, после очередного допроса, в тюремной больнице опять потеряла ребенка.

Это время «жестокого расцвета» продолжилось в войну, о которой Ольга Берггольц скажет — с высоты своего

знания — *«на вольном и жестоком языке»*, дарованном ей страшным опытом конца тридцатых: *«Тюрьма — исток победы над фашизмом, потому что мы знали: тюрьма — это фашизм, и мы боремся с ним, и знали, что завтра — война, и были готовы к ней»*.

К войне — наверное. Но к блокаде... *«Небывалый опыт человечества»*, — скажет она о блокадной трагедии.

«Я здесь, чтобы свидетельствовать...» Этому вольно или невольно следует любой писатель. Вопрос в том, чему свидетелем он оказался, какой Атлантиде не должно позволить *«утонуть в забвении...»*.

Свидетельства О. Берггольц — это не только ее стихи и проза, но в первую очередь блокадные дневники, страшные и обжигающие, как ленинградский лед 1941–1942 годов. Дневники эти тоже о «великой, печальной, молчаливой второй жизни народа», о мученичестве Города, принявшего пытку голодом. Города, который — может быть, единственный в мире — оправдал приставку *«санкт»* в своем имени.

Знаменательны и свидетельства Берггольц о поездке в Москву, куда ее, предельно истощенную, друзья отправили в марте 1942 года. Она провела в столице меньше двух месяцев, постоянно порываясь вернуться: дышать там — после «высокогорного, разреженного, очень чистого воздуха» ленинградской «библейски грозной» зимы — было нечем.

«Здесь не говорят правды о Ленинграде...» *«...Ни у кого не было даже приближенного представления о том, что переживает город... Не знали, что мы голодаем, что люди умирают от голода...»* *«...Заговор молчания вокруг Ленинграда»*. *«...Здесь я ничего не делаю и не хочу делать, — ложь удушающая все же!»* *«Смерть бушует в городе... Трупы лежат штабелями... В то же время Жданов присылает сюда телеграмму с требованием — прекратить посылку индивидуальных подарков организациям в Ленинград. Это, мол, „вызывает нехорошие политические последствия“*. *«По официальным данным умерло около двух*

миллионов...» «А для слова — правдивого слова о Ленинграде — еще, видимо, не пришло время... Придет ли оно вообще?..»

И — через все дневниковые записи и письма этого периода рефреном идет: «В Ленинград — навстречу гибели, ближе к ней... Скорей бы в Ленинград!»

Именно Ольгу Берггольц Ленинград выбрал в те годы своим поэтом.

И когда власть, сначала в 1946-м, а потом и в 1949-м, решила осадить Город, выживший *несмотря ни на что* и осознавший свое *самостоянье* («залог величия»), — перед Берггольц опять замаячила «разлуки каторжная даль» («...не будет ничего удивительного, если именно меня как поэта, наиболее популярного поэта периода блокады, — попытаются сделать „идеологом“ ленинградского противопоставления со всеми вытекающими отсюда выводами, вплоть до тюрьмы»). Именно к этому периоду относится история «пробитого дневника», рассказанная в нашей книге.

И что с того, что ее, острую на язык, «неудобную», городские власти никогда не приглашали 9 мая на трибуну во время парадов Победы... Ольга Берггольц всегда оставалась *народным* поэтом «по праву разделенного страданья».

*

Человеческая память — самый надежный носитель наших страданий и радостей.

«Никто не забыт, и ничто не забыто...» — слова О. Берггольц, высеченные на мемориальной стене Пискаревского кладбища, в контексте и ее жизни, и жизней миллионов наших соотечественников обретают смысл, выходящий за пределы войны и Блокады.

«Но даже тем, кто все хотел бы сгладить / в зеркальной робкой памяти людей, / не дам забыть...»

Память — главное действующее лицо этой книги.

Наталья Соколовская

*«Никто не забыт,
и ничто не забыто»*

*Из дневников
1939–1949 годов*

Забвение истории своей Родины, страданий своей Родины, своих лучших болей и радостей, — связанных с ней испытаний души — тягчайший грех. Недаром в древности говорили: — Если забуду тебя, Иерусалиме...¹

*О. Берггольц. Из подготовительных записей
ко второй части «Дневных звезд»*

¹ Если забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя... (Ветхий Завет. Псалтырь. Псалом 136, ст. 5–6).

ИЗ ДНЕВНИКОВ

1939–1942 годов¹

15/VII–39²

13 декабря 1938 г. меня арестовали, 3 июля 39-го, вечером, я была освобождена и вышла из тюрьмы. Я провела в тюрьме 171 день. Я страстно мечтала о том, как я буду плакать, увидев Колю³ и родных, — и не пролила ни одной слезы. Я нередко думала и чувствовала там, что выйду на волю только затем, чтобы умереть, — но я живу... подкрасила брови, мажу губы...

Я еще не вернулась оттуда, очевидно, еще не поняла всего...

4/IX–39

Все еще почти каждую ночь снятся тюрьма, арест, допросы. (Отнесла стихи в «Известия», составила книжку стихов. «Да, взлета, колодца — все еще нет, да и будет ли он у меня?»)⁴

¹ Публикуется по: Звезда. 1990. №5–6; Знамя. 1991. №3; альманах «Апрель». 1991. Вып. IV; Берггольц О. Встреча. СПб., 2003.

² 13 декабря был выдан ордер на арест. Арестована 14 декабря.

³ Молчанов Н. С. (1909–1942) — муж Ольги Берггольц (1930–1942). Ему посвящены многие произведения О. Б. (подробнее о нем в публикации Н. А. Прозоровой, см. с. 279 наст. изд.).

⁴ Эти публикации не состоялись.

21/IX-39

Тупость проходит понемногу-понемногу. Но все еще пресно. Хочется абсолютного одиночества, потому что в нем можно хотя бы думать, но донимают приятельницы, надо же поговорить с ними, хоть чувствую от этого свою неискренность и сухость. Много по ночам с Колей о жизни, о религии, о нашем строе. Интересные и горькие мысли. Это, вероятно, приходит человеческая зрелость, ну, а потом, что? Не знаю. Пока все, практически, остается так же неизменно, как и было. И уже, очевидно, не сможет стать иным или иначе.

А мне не страшно, никаких мыслей; как было страшно, скажем, три года назад... Нет, не должен человек бояться никакой своей мысли. Только тут абсолютная свобода. Если же и там ее нет — значит, ничего нет.

15/X-39

Да, я еще не вернулась оттуда. Оставаясь одна дома, я вслух говорю со следователем, с комиссией, с людьми — о тюрьме, о постыдном, состряпанном «моем деле». Все отзывается тюрьмой — стихи, события, разговоры с людьми. Она стоит между мной и жизнью...

6/XI-39, 2 ч. ночи

Завтра 22 года Октябрьской революции.

Я приветствую вас, Мария Рымшан, Ольга Абрамова, Настасья Мироновна Плотникова, Елена Иванова, Женя Шабурашвили¹, — коммунистки, беспартийные *честные* товарищи, сидящие или не сидящие в камерах Арсеналки и Шпалерки!

Я с вами сейчас, родные мои товарищи. Я рыдаю о вас, я верю вам, я жажду вашей свободы, восстановления вашей чести.

¹ Сокамерницы О. Б. по тюрьме.

Товарищи, родные мои, прекрасные мои товарищи, все, кого знаю и кого не знаю, все, кто ни за что томится сейчас в тюрьмах в Советской стране, о, если б знать, что это мое обращение могло помочь вам, отдала бы вам всю жизнь!

Я с вами, товарищи, я с вами, я с вами, бойцы интернациональных бригад, томящиеся в концлагерях Франции. Я с вами, все честные и простые люди: вас миллионы, тех, кто честно и прямо любит Родину, с поднятой головой и открытыми устами!

Я буду полна вами завтра, послезавтра, всегда, я буду прямой и честной, я буду до гроба верна мечте нашей — великому делу Ленина, как бы трудна она ни была! Уже нет обратного пути.

Я с вами, товарищи, я с вами!

14/XII-39

Ровно год тому назад я была арестована.

Ощущение тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. И именно ощущение, т. е. не только реально чувствую, обоняю этот тяжкий запах коридора из тюрьмы в «Б(ольшой) дом», запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние посторонней заинтересованности, страха, неестественного спокойствия и обреченности, безвыходности, с которыми шла на допросы.

...Да, но зачем все-таки подвергали меня все той же муке?! Зачем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи (желтый свет лампочек, красные матрасы, стук в отопительных трубах, голуби)?

И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности?

Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и го-

ворят: «Живи». Произошло то же, что в щемящей щедринской сказке «Приключения с Крамольниковым»: «Он понял, что все оставалось по-прежнему, — только душа у него „запечатана“».

«Но когда он хотел продолжать начатую работу, то сразу убедился, что, действительно, ему предстоит провести черту и под нею написать: „не нужно“».

Со мною это и так, и все-таки не так. Вот за это-то «не так» я и хватаюсь. Действительно, как же я буду писать роман о нашем поколении, о становлении его сознания к моменту его зрелости, роман о субъекте эпохи, о субъекте его сознания, когда это сознание после тюрьмы потерпело такие погромы, вышло из дотюремного равновесия?

Все или почти все до тюрьмы казалось ясным: все было уложено в стройную систему, а теперь все перебуравлено, многое поменялось местами, многое переоценено.

А может быть, это и есть настоящая зрелость? Может быть, и не нужна «система»? Может быть, раздробленность такая появилась оттого, что слишком стройной была система, слишком неприкосновенны фетиши и сама система была системой фетишей? Остается путь, остается история, остается наша молодость, наши искания, наша вера — все остается. Ну, а вывод-то какой мне сделать — в романе, чему учить людей-то? Экклезиастическому «так было — так будет»? Просто дать ряд картин, цепь размышлений по разным поводам — и всё? А общая идея? А как же писать о субъекте сознания, исключив самое главное — последние два-три года, т. е. тюрьму? Вот и выходит, что «без тюрьмы» нельзя и с «тюрьмой» нельзя... уже по причинам «запечатанности». А последние годы — самое сильное, самое трагичное, что пережило наше поколение, я же не только по себе это знаю.

Ну ладно. Кончу — обязательно к Новому году, кончу правку истории и возьмусь только за художественное,

и буду писать так, как будто бы решительно все и обо всем можно писать, с открытой душой, сорвав «печати», безжалостно и прямо, буду пока писать то, что обдумала до тюрьмы (включая человечность, приобретенную мною там, и осмысляя наш путь по-взрослому), а там видно будет, к концу...

Да, но вот год назад я сначала сидела в «медвежатнике» у мерзкого Кудрявцева¹, потом металась по матрасу возле уборной — раздавленная, заплеванная, оторванная от близких, с реальной перспективой каторги и тюрьмы на много лет, а сегодня я дома, за своим столом, рядом с Колей (это главное!), и я — уважаемый человек на заводе, пропагандист, я буду делать доклад о Сталине, я печатаюсь, меня как будто уважает и любит много людей... (Это хорошо все, но не главное.)

Значит, я победитель?

Ровно год назад К(удрявцев) говорил мне: «Ваши преступления, вы — преступница, двурушница, враг народа, вам никогда не увидать мужа, ни дома, вас уже давно выгнали из партии».

Сегодня — все наоборот.

Значит, я — победитель? О нет!

Нет, хотя я не хочу признать себя и побежденной. Еще, все еще не хочу. Я внутренне раздавлена тюрьмой, такого признания я не могу сделать, несмотря на все бремя в душе и сознании.

Я покалечена, сильно покалечена, но, кажется, не раздавлена. Вот на днях меня будут утверждать на парткоме. О, как страстно хочется мне сказать: «Родные товарищи! Я видела, слышала и пережила в тюрьме то-то, то-то и то-то... Это не изменило моего отношения к нашим идеям и к нашей родине и партии. По-прежнему, и даже в еще большей мере, готова я отдать им все свои силы. Но все, что открылось мне, болит и горит во мне,

¹ Следователь Иван Кудрявцев, вел первый допрос О. Б.

как отравы. Мне непонятно то-то и то-то. Мне отвратительно то-то. Такие-то вот вещи кажутся мне неправильными. Вот я вся перед вами — со всей болью, со всеми недоумениями своими». Но этого делать нельзя. Это было бы идеализмом. Что они объяснят? Будет — исключение, осуждение (...) и, вероятнее всего, опять тюрьма.

О, как это страшно и больно! Я говорю себе — нет, довольно, довольно! Пора перестать мучиться химерами! Кому это нужно, твои лирические признания о боли, недоумениях и прочее? Ведь Программу и Устав душою разделяешь полностью? Ведь все поручения стремишься выполнить как можно лучше? Последствия тюремного отравления не сказываются на твоей практической работе, наоборот, я стараюсь быть еще добросовестнее, чем раньше. (Не оттого ли, что стремлюсь заглушить отравление?) Так в чем же дело?

23/XII-39

...Степка не шевелится. Это удручает меня. Неужели опять — авария? Я знаю, что это почти безрассудно заводить сейчас ребенка: война, болезнь Коли, материальная необеспеченность, а сколько будет забот, и тревог, и быта! Но я рвусь к этому как к спасательному кругу: мне кажется, что тот, кто должен был появиться, как-то примирит нас с жизнью, наполнит ее важным, действительным смыслом.

Я говорю о действительном, вечном, не зависимом от «вражды или близости с Наполеоном»¹, смысле.

Недействительный смысл есть, но этого для жизни мало. Вот 21 декабря я выступала на собрании о Сталине, выступала неплохо, потому что готовилась к докладу очень добросовестно, потом прочитала свой стишок о Сталине. Гром аплодисментов, все были очень доволь-

¹ Неточная цитата из романа «Война и мир» Л. Н. Толстого.

ны и т. д. Ровно год назад я читала этот стишок в тюрьме, будучи оплеванной, низведенной на самую низшую ступень, на самое дно нашего общества, на степень «врага народа»... Как этот слабый стишок там любили! Плакали, когда я дочитывала до конца, и сама я так волновалась, когда читала... Пока не стала думать: «Твоя вина!» Но даже думая так о нем, не могла без волнения читать, я доклады делала с волнением, искренне. Где, когда, почему мы выскочили из колеи?

25/XII-39

Вчера читала материалы газетные о Сталине. Очень гнусная статья П. Тычины¹ в «Литературной газете». А мой этот самый стишок там отказались печатать. Очевидно, как пояснил Володя Л.², — тоже не принявший стишка, — «не масштабно, не соответствует величию Сталина». Вот как раз и соответствует величию, еще большему, может быть, чем реальное величие, — величию людского представления о нем.

И вдруг мне захотелось написать Сталину об этом: о том, как относятся к нему в советской тюрьме. О, каким сиянием было там окружено его имя! Он был такой надеждой там для людей, это даже тогда, когда я начала думать, что «он все знает», что это «его вина», — я не позволяла себе отнимать у людей эту единственную надежду. Впрочем, как ни дико, я сама до сих пор не уверена, что «все знает», а чаще думаю, что он «не все знает». И вот начала письмо с тем, чтобы написать ему о М. Рымшан, Плотниковой, Ивановой, Абрамовой, Женьке Шабурашвили, — это честные, преданные люди, глубоко любящие его, а до сих пор — в тюрьме. И когда подошла к этому разделу — потухла, что ли. Додик пи-

¹ Тычина П. Г. (1891–1967) — украинский поэт. «Живи, як Сонце, Сталін» / Из юбилейных статей к шестидесятилетию вождя // Литературная газета. 1939. 21 декабря.

² Луговской В. А. (1901–1957) — русский советский поэт.

сал Сталину о своем брате, о том, как его пытали, — ответа не получил. Рымшан писал тому же Сталину о своей жене — ответа не получил. Помощи не получил. Ну, для чего же писать мне? Утешить самое себя сознанием своего благородства?

Потому что мысль о том, что я не написала до сих пор Сталину, мучит меня, как содеянная подлость, как соучастие в преступлении... Но я знаю — это бесполезно. Я имею массу примеров, когда люди тыкались во все места, и вплоть до Сталина, а «оно» шло само по себе — «идёт, идёт и придёт».

В общем, «псих ненормальный, не забывай, что ты в тюрьме...».

Боже мой! Лечиться, что ли? Ведь скоро 6 месяцев, как я на воле, а нет дня, нет ночи, чтобы я не думала о тюрьме, чтобы я не видела ее во сне... Да нет, это психоз, это, наверное, самая настоящая болезнь...

25/1-40

...Машу Рымшан осудили на 5 лет... Все статьи сняли, осудили как «социально опасную». Это человек, отдавший всю жизнь партии. Мотивировок к осуждению нет даже юридически сколько-нибудь основательных. Произвол, беззаконие, и всё.

О, как подло.

Даже тот факт, что продолжают выпускать людей, не может снизить, убавить подлости осуждения Маши и ей подобных. Тем более должны были освободить. Не вся правда хуже, чем неправда. Не вся правда — двойной обман.

«Нами человечество протрезвляется, мы — его похмелые, мы — его боль родов», — писал Герцен¹ в 1848 г.

¹ Герцен А. И. (1812–1870) — философ, публицист, писатель. Приводится цитата из «Былого и дум».

Может быть, время поставить под этими словами сегодняшнюю дату? Какой-то маленький светлый кусочек внутри, остаток безмерной веры — «Клочок рассвета мешает мне сделать это? Или трусость? Или инстинкт самосохранения?».

1/III-40

...Читаю Герцена с томящей завистью к людям его типа и XIX веку. О, как они были свободны. Как широки и чисты! А я даже здесь, в дневнике (стыдно признаться), не записываю моих размышлений только потому, что мысль: «Это будет читать следователь» преследует меня. Тайна записанного сердца нарушена. Даже в эту область, в мысли, в душу ворвались, нагадили, взломали, подобрали отмычки и фомки. Сам комиссар Гоглидзе¹ искал за словами о Кирове², полными скорби и любви к Родине и Кирову, обоснований для обвинения меня в терроре. О, падло, падло.

А крючки, вопросы и подчеркивания в дневниках, которые сделал следователь? На самых высоких, самых горьких страницах!

Так и видно, как выкапывали «материал» для идиотских и позорных обвинений.

И вот эти измученные, загаженные дневники лежат у меня в столе. И что бы я ни писала теперь, так и кажется мне — вот это и это будет подчеркнуто тем же красным карандашом, со специальной целью — обвинить, очернить и законопатить, — и я спешу приписать что-нибудь объяснительное — «для следователя» — или

¹ Гоглидзе С. А. (1901–1953) — начальник Управления НКВД ЛО в 1938–1941 г. Организатор массовых репрессий. Расстрелян. См. о нем на с. 395 наст. изд.

² Киров С. М. (1886–1934) — с 1926 г. первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б), член Политбюро ЦК ВКП(б). Убит в Смольном Л. Николаевым выстрелом в затылок.

руки опускаю, и молчишь, не предашь бумаге самое наболевшее, самое неясное для себя...

О, позор, позор, позор!.. И мне, и тебе! Нет! Не думать об этом! Но большей несвободы еще не было...

Писать свое — пьесу, рассказы...

Не думать, не думать об этом хотя бы пока... Все равно куда не уйдешь от этих мыслей...

25/XII-40

Сегодня в клубе Эренбург¹, живший во Франции, в Париже — в дни его и ее разгрома, читал отрывки из романа «Падение Парижа» и стихи.

Отрывки — до жалости плохи и равнодушны. Стихи академичны, полумертвы (чем-то похожи на мои), но есть хорошие, с настоящей болью.

Я тихо и бесстрастно ужасалась: как далеко может идти профессионализм, что человек может СЕЙЧАС писать о разгроме Франции! Это так же дико, как если бы художник, рисуя увечного, пытался приклеить на картину куски живого мяса. Но даже это не удалось ему: рассудочный сентиментализм. Нехорошо.

На вечер пришли Таня и Юра Прендели², Таня мне — все равно, а Юра занимает, и даже специфически. Уже некоторое время идет подводная игра, которая может окончиться бурным объятьем, если я того пожелаю.

Но я, по всем данным, не пожелаю этого. Юра — «не наш». Кроме того, меня раздражает его ущемленность по отношению ко мне и Кольке; в этом какая-то неискренность, искусственность отношения. Короче, они были там, и я отправила их домой, а сама навязалась на столик к Германам, жестоко презирая себя за это. Тем

¹ Эренбург И. Г. (1891–1967) — поэт, прозаик, публицист, автор знаковой книги «Оттепель» (1954–1956), литературных мемуаров «Люди, годы, жизнь» (1961–1965).

² Прендель Ю. А. — врач-психиатр. Таня — его жена. Друзья О. Б.

более, что Юра Г.¹ написал беспринципную, омерзительную во всех отношениях книжку о Дзержинском².

Он спекулянт, он деляга, нельзя так писать, и литературно это бесконечно плохо. Мне надо было сказать ему это, а не втираться к нему на столик.

Потом подсел Зонин³ с пошлым ухажерством, это было на глазах у Юрки, мне было неудобно, хотя и мелко-лестно (чего мне надо и на что я надеюсь?!), и на вопрос Зонина я ответила, что да, читала его книгу и она мне очень понравилась, но книжки я почти не читала, только начало.

Потом я провожала Зонина до места его ночевки, были обрывки серьезного разговора (ох, сяду я за них, ни за что сяду!) и пошлого флирта на словах...

Все, что сберечь мне удалось,
Надежды веры и любви,
В одну молитву все слилось:
Переживи, переживи!⁴

Зачем этот размен?! Это чисто внешне, души я ничуть не отдаю, но, м. б., и отдаю, и теряю.

Вот с Лидой Ч(уковской)⁵ сегодня был хороший разговор. И я постараюсь написать для хрестоматии хорошие рассказы.

Безвременье души, — вообще.

¹ Герман Ю. П. (1910–1967) — писатель, драматург, близкий друг О. Б. Ему посвящено стихотворение «Феодосия».

² Дзержинский Ф. Э. (1877–1926) — председатель ВЧК–ОГПУ (1917–1926). Один из организаторов Красного террора (1918–1922). Ю. Герман написал о нем цикл рассказов «Железный Феликс».

³ Зонин А. И. (1901–1962) — прозаик-маринист, критик. В 1950 г. осужден на 10 лет лагерей. В 1955 г. реабилитирован. Второй муж В. Кетлинской.

⁴ Стихотворение Ф. И. Тютчева.

⁵ Чуковская Л. К. (1907–1996) — дочь К. И. Чуковского, редактор, писательница, мемуарист. Основные произведения: повесть «Софья Петровна», «Записки об Анне Ахматовой».

Была в Москве. Встречалась с Сережей¹. Это ничего не принесло на этот раз, кроме опустошения и тупой боли. Очевидно, потому что он меня вовсе не любит, даже не влюблен, а просто так.

13/III-41

Иудушка Головлева² говорит накануне своего конца: «Но куда же всё делось? Где всё?»

Страшный, наивный этот вопрос все чаще, все больше звучит во мне. Оглядываюсь на прошедшие годы и ужасаюсь. Не только за свою жизнь. Где всё? Куда оно проваливается, в чем исчезает и, главное, — зачем, за чем?!

Перечитываю сейчас стихи Бориса Корнилова³, — сколько в них силы и таланта! Он был моим первым мужчиной, моим мужем и отцом моего первого ребенка, Ирки⁴.

Завтра ровно пять лет со дня ее смерти.

Борис в концлагере, а может быть, погиб.

Превосходное стихотворение «Соловьяха» было посвящено им Зинаиде Райх⁵, он читал его у Мейерхольда⁶. Мейерхольд, гениальный режиссер, был арестован и погиб в тюрьме. Райх зверски, загадочно убили через несколько дней после ареста Мейерхольда и хоронили тишком, и за гробом ее шел один человек.

¹ Наровчатов С. С. (1919–1981) — поэт. Ему посвящено стихотворение «Не сына, не младшего брата...».

² Персонаж романа М. Е. Салтыкова (Щедрина) «Господа Головлевы», чье имя стало нарицательным.

³ Корнилов Б. П. (1907–1938) — поэт, автор поэм «Соль», «Моя Африка», неоконченной поэмы «Люся» и др. Первый муж О. Б., адресат нескольких ее стихотворений. Автор «Песни о встречном» (1932) и др. В 1937 г. арестован, расстрелян. Песни исполнялись после его гибели как народные.

⁴ Дочь Б. Корнилова и О. Берггольц (1928–1936).

⁵ Райх З. Н. (1894–1939) — известная актриса, первая жена С. Есенина, жена Вс. Мейерхольда, зверски убита после его ареста.

⁶ Мейерхольд Вс. Э. (1874–1940) — режиссер, актер, реформатор театра. В 1939 г. репрессирован, расстрелян.

Смерть, тюрьма, тюрьма, смерть...

На бездарном «Дон-Кихоте» в Александринке виде-ла сегодня Виктора Яблонского¹, с которым связано ощу-щение целого периода в жизни — знакомство с Горьким², ЛАПП, история с Авербахом³. Горький умер. Л. Авербах расстрелян. Миша Чумандрин⁴ погиб на финской войне. Володя Эрлих⁵ в концлагере. Юрий Либединский⁶ разо-шелся с Муськой. Виктор очень постарел, — значит, и я так же страшно постарела...

Где всё?! Где всё?..

А Ирка, Ирка, господи... А эпилепсия Коли с 32 года? Где всё и зачем всё? И что же вместо того, что было ко-гда-то? Какой наполненной жизнью жила я в 31 году. Сами заблуждения мои были от страстного, безуслов-ного доверия к жизни и людям... Сколько силы было, веры, бесстрашия. Была Ирка, был здоровый Коля, было ощущение неисчерпанности, бесконечности жизни, бы-ла нерушимая убежденность в деле, в правильности все-го, что делал... Где же, где всё?

26/III-41

Сегодня, в первый раз за довольно долгое время, у меня не тюкает в голове. Это громадное достижение. Уже не помню, но чуть ли не с десятого числа началась

¹ Яблонский В. П. (1897–1941/42?) — актер и режиссер 2-го МХАТа.

² Максим Горький (Пешков А. М.) (1868–1936) — писатель, пуб-лицист, общественный деятель.

³ Авербах Л. Л. (1903–1937) — генеральный секретарь РАППа в 1928–1932 гг. С ним О. Б. была близко знакома. В апреле 1937 г. объявлен врагом народа, расстрелян.

⁴ Чумандрин М. Ф. (1895–1940) — писатель, погиб в советско-финляндской войне.

⁵ Эрлих В. И. (1902–1937) — поэт, друг С. Есенина, репресси-рован.

⁶ Либединский Ю. Н. (1898–1959) — писатель, деятель РАППа, первый муж М. Ф. Берггольц (1912–2003), актрисы. Расстались в 1939 г.

у меня отчаянная невралгия, такая, что я света не взвидела. Глотала всякую дрянь, и сейчас еще ем на ночь люминал и от дикой головной боли, от лекарств совершенно отупела. Все мысли и чувства ленивы и притуплены, все равно. Нет, еще рановато для малярии. Еще я должна написать роман, и выпустить хорошую книгу стихов, и увидеть на экране свой «Первороссийск»¹, а потом уж пускай.

Сейчас я в Доме творчества, в Детском². В этом доме я дважды умирала: первый раз, когда пришла просить у Толстого³ машину, чтоб увезти Ирку в больницу. Я сказала Толстой⁴: «Моя дочь умирает, дайте мне машину» — и поняла, что она действительно умирает... Со смертью ее началась моя смерть, тем более что Я, я виновата в смерти Ирочки. И весь мир стал смертен.

Второй раз из этого дома — меня увезли в тюрьму, и с нее началась вторая смерть — смерть «общей идеи» во мне. Я не живу; я живу вспышками, путем непрерывных коротких замыканий, но это не жизнь. Я живу по инерции, хватаюсь, цепляюсь за что-то: и за работу, и за пижаму, но это непрерывное бегство от самой себя.

Доктор сказал, что мне надо пойти к психиатрам. Зачем? Что они могут восстановить во мне? Я с удовольствием скажу им, что мне нечем жить, потому что насущнейшая моя потребность говорить людям именно об этом, и это тоже бегство, т. к. я слишком слаба, чтоб таскать все это в самой себе, но чем, чем они мне могут помочь? Какую новую опору дадут они мне?

¹ К этому времени относится первоначальный замысел поэмы «Первороссийск».

² До 1918 г. — Царское Село. С 1937 г. — г. Пушкин. Дом творчества писателей находился на Пролетарской ул., 6 (ныне Церковная ул.).

³ Толстой А. Н. (1883–1945) — граф, советский писатель, лауреат трех Сталинских премий.

⁴ Толстая Л. И. (1906–1982) — жена (четвертая) А. Н. Толстого.

Я круглый лишенец¹. У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти, больше, даже к идее ее... «Как и жить и плакать без тебя?!»²

Я думаю, что ничто и никто не поможет людишкам, одинаково подлым и одинаково прекрасным во все времена и эпохи. Движение идет по замкнутому кругу, и человек с его разумом бессилён. У меня отнята даже возможность «обмена света и добра» с людьми. Все лучшее, что я делаю, не допускается до людей, — хотя бы книжка стихов, хотя бы Первороссийск. Мне скажут — так было всегда. Но в том-то и дело, что я выросла в убеждении (о, как оно было наивно), что «у нас не как всегда»...

Я задыхаюсь в том всеобволакивающем, душном тумане лицемерия и лжи, который царит в нашей жизни, и это-то и называют социализмом!!

Я вышла из тюрьмы со смутной, зыбкой, но страстной надеждой, что «всё объяснят», что то чудовищное преступление перед народом, которое было совершено в 35–38 гг., будет хоть как-то объяснено, хоть какие-то гарантии люди получат, что этого больше не будет, что освободят если не всех, то хоть очень многих, я жила эти полтора года в какой-то надежде на исправление этого преступления, на поворот к народу — но нет... Все темнее и страшней, и теперь я убеждаюсь, что больше ждать нечего. Вот в чем разница... В июле 39 года еще чего-то ждала, теперь чувствую, что ждать больше нечего — от государства.

Я все ругаю себя разными словами — «маловерие», «пороху не хватило», «испугалась трудностей», — но нет! Не трудностей я боюсь, а лжи, удушающей лжи, которая ползет из всех пор...

¹ «Лишенец» — гражданин СССР, лишенный избирательных и других прав по социальным признакам.

² Строка из стихотворения А. Блока «Осенняя воля».

Содержание

К читателю. <i>Наталья Соколовская</i>	5
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»	
<i>Из дневников 1939–1949 годов</i>	
Из дневников 1939–1942 годов	11
Записи о Старом Рахине. <i>Колхоз, 1949 год</i>	139
Записи на отдельных листах. <i>Октябрь 1949 года</i>	159
«Я ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ...»	
<i>Фрагменты и подготовительные материалы:</i>	
<i>вторая часть книги «Дневные звезды»</i>	163
«АЩЕ ЗАБУДУ ТЕБЕ, ИЕРУСАЛИМЕ...»	
<i>Письма</i>	
Письма Г. П. Макогоненко	209
Письмо М. С. Довлатовой	230
Письмо Н. Д. Оттену	233
Письма М. Ф. Берггольц	240
Письма Б. Л. Пастернаку	251
Письма О. Ф. Берггольц отцу, Ф. Х. Берггольцу. <i>(1942–1948). (Публикация Н. А. Прозоровой)</i>	257
Письма семье Молчановых <i>(1941–1945)</i> <i>(Публикация Н. А. Прозоровой)</i>	307

АРХИВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО № П-8870

<i>Наталья Соколовская.</i> «Тюрьма — исток победы над фашизмом»	391
<i>Александр Рубашкин.</i> «...Луна гналась за нами, как гепеушник»	410
«Нет, не из книжек наших скудных...»	423
Основные даты жизни и творчества Ольги Берггольц.	425